

на год. Зимой 1943 года пятнадцатилетнего Ванюшку назначили колхозным конюхом. Понятно, что здесь у него была возможность в нерабочее время, по ночам, без ведома начальства, что-то перевозить на лошади. Однажды морозной зимой ночью Ваня, никого не уведомив, запряг лошадь и поехал в лес. Найдя заготовленные кем-то дрова, он загрузил сани – дровни, увязал воз и двинулся в обратный путь. На лесной дороге – мягкой, неупотанной – высокозагруженные сани завалились набок, и лошадь встала. Ваня, понукая лошадь, подпер дровни, которые еще больше накренились и придавили Ваню под себя. Так он и замерз под дровами. Его спохватились и нашли только утром. Лошадь, простоявшая без движения в упряжи всю ночь, тоже позднее погибла.

Другая трагедия – тоже с дровяными мытарствами – случилась позднее, зимой 1945 года. Паша Долгова, сорокалетняя вдова с тремя детьми, в один из январских дней обнаружила, что дрова в поленице на исходе – хватит только на одну-две протопки. Время перевалило за полдень, Паша видела это по солнцу, – часов дома не было – и она решила: до наступления темноты остается около четырех с лишним часов. Этого времени должно хватить, чтобы пройти с санками до леса, погрузить дрова – совсем немного уместится на санках – и вернуться к сумеркам домой, когда старшая дочь Валя, скотница на ферме, тоже возвращается с работы.

Начало темнеть. Валя пришла домой. Младшие девочки сказали, что мама ушла в лес, за дровами. Предчувствуя неладное, Валя побежала к дяде Ефиму Гурьянову, председателю колхоза. Он быстро собрал группу молодых женщин и ребят постарше. Вооружившись фонарями, они побежали в лес. Оказалось, что Паша заблудилась в многочисленных санных дорожках. Выбившись из сил, она бросила санки и пошла наугад по снежной целине, раздирая в снегу все, что было на ногах: лапти, онучи, носки...

С обмороженными ногами ее привезли в деревню и отправили – теперь уже на лошади – в больницу, в Чулпаново, что в 20 километрах от нас.

Летом, уже после мая 1945 года, я увидел Пашу Долгову. Она сидела в самодельной инвалидной тележке возле дома. Обе ее ноги были ампутированы выше колен. Паша узнала меня, мы перекинулись несколькими фразами, и я, глотая слезы, быстро отошел от нее.

Дядя Ефим – так его все звали – Ефим Петрович Гурьянов, наш председатель колхоза. Под его началом я проработал два с половиной года. Колхоз он возглавил во время войны. Его основная сельская профессия – ветеринарный фельдшер. «Коновал» – так он иногда себя называл. В первую мировую он служил тоже по ветеринарной части в кавалерийском эскадроне.

Во время моих с ним поездок в районный центр мне приходилось узнавать немало удивительно, о чем мне до того не приходилось ни читать, ни слышать.

Так Ефим Петрович, рассказывая о военной службе, вспомнил о случае в Екатеринославе, где стоял его полк.

– Город этот запомнился мне интересным случаем. В одной из приднепровских слободок, на

улице, по которой я проводил – малолюдной, заросшей травой – мне повстречался ... царевич!

– Какой такой царевич? – изумился я.

– Царевич Алексей Николаевич, царский наследник.

– Как же вы его увидели? Охрана, поди, такая, что и близко не подпускала.

– Не было охраны никакой, кроме матроса. Говорили потом, что матрос был и нянькой, и охранником. Наследник шел впереди. Аккуратный такой мальчик в форме.

Фуражка, гимнастерка, сапожки хромовые – маленький солдатик. В руках – офицерский хлыстик, которым он ловко сбивал растущие на обочине то ромашки, то одуванчики – что попадет на пути... Вот такая была встреча.

Помню, я слушал тогда Ефима Петровича с некоторым комсомольским недоверием – мол, погибает старик... Только много-много лет спустя я узнал о судьбе цесаревича Алексея и его няньки – матроса Нагорного, расстрелянных в 1918 году в Екатеринбурге.

Ефим Петрович отлично знал состояние коневодства – доколхозного.

– Все колхозные земли – это бывшие владения нашей сельской общины. В нашем околотке не было помещиков, и земля была разделена на отдельные подворные наделы. Вся пахотная площадь обрабатывалась крестьянами только конными орудиями – плугами и боровами. Считалось, что в Поволжье одна лошадь в среднем приходится на пять человек, то есть одна лошадь – на семью, на один двор. Учитывая безлошадных, в деревне на 100 дворов насчитывалось до 80-90 лошадей. И крестьянство получало столько товарного зерна, что с избытком хватало на потребности государства. Даже во время Русско-германской войны 1914–1917 годов не было и помину о введении карточной системы. Казна покупала зерно у крестьян по рыночной цене. Переход на твердые цены так и остался только разговором в Государственной думе.

А сегодня история такая. В колхозах извелся, вывелся почти весь лошадиный табун. Из 70 голов в начале войны сейчас имеем 27. На поле – трактора, которые работают от МТС, т.е. от государства. Зерно из колхоза увозится по обязательным поставкам за земли – пахотные и пастбищные – и за работу МТС. Колхозникам на трудодни потому ничего и не достается.

– Вот мы обсуждали рабочий план на весенний сев. Планируем закончить его за 9 дней. А мы с помощью МТС закончим его – отсеемся за месяц: у них тоже не хватает тракторов, запчастей. Отсюда – поздние всходы, сорняки пойдут. Какие тут будут урожаи! А государству в любом случае надо сдавать поставки – они так и называются – обязательные. Правда, считается, что государство нам платит. Помнишь, сколько за центнер?

– Помню, конечно, Ефим Петрович. За овес – 3 рубля 80 копеек за 1 центнер, рожь – 8 рублей, пшеница – 10 рублей. Соответственно, нам государство платит за килограмм овса 3,8 копейки, килограмм ржи – 8 копеек, килограмм пшеницы – 10 копеек.

Именно так государство рассчитывалось с колхозами. И колхозники ничего, кроме записанных

трудодней, не получали. Памятен для меня случай, который произошел со мной однажды в Горьком, на Казанском вокзале. Продвигаясь между деревянными диванами для пассажиров, я столкнулся с молодым мужчиной – по виду рабочим. Мы оба при этом замешкались – куда же уклониться. И этот, надо думать, городской пролетарий презрительно бросил мне: «Ну-ка, посторонись, Иван с трудоднями!» Он, этот городской забулдыга, был в сущности прав: колхозник тогда и паспорта не имел. Были одни трудодни! Крепостной с... трудоднями.

Нелепость, укоренившаяся с организацией колхозов: голод начинается в деревне! Там, где хлеб выращивают! Неужели об этом не задумывались в высоких сферах, где затеяли, «замесили» коллективизацию? Много раз я задумывался над этим, искал ответ в исторических источниках. И все-таки нашел в издании предельно идеологизированном – «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945» (Военное издательство, 1964) – что-то объективное. Что-то! Привожу строки со страницы 187 этой книги:

«Большой вред сельскому хозяйству страны наносила действовавшая в то время система планирования работ МТС и расчетов с ними, при которой МТС не были заинтересованы в подъеме урожайности и валового сбора зерна. Кроме того, принцип исчисления обязательных поставок колхозами сельхозпродукции с каждого гектара колхозной земли, оправдавший себя в довоенный период, в трудных условиях войны становился нецелесообразным из-за резкого ослабления материально-технической базы колхозов и острого недостатка рабочей силы...»

«Для многоземельных колхозов земля стала в тягость, – писал в декабре 1943 г. на имя Сталина секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Андреев, – и они никак не могут выбраться из трудного положения, рассчитаться с государством и выдать зерно на трудодни колхозникам. Бесперспективность и постоянные долги государству в таких колхозах дезорганизуют их внутреннюю обстановку, подрывают дисциплину».

Оказывается, о чем-то думали вершители советской погоды. Только думали... «Я историю излагаю», – писал в своих стихах известный поэт – фронтовик Борис Слуцкий.

Потрясают его строки о деревне:

Когда в деревне голодали
И в городе недоедали...
За городской чертой кончались
Больница, карточки, талон,
И мир села сидел, отчаясь,

С пустым горшком, пустым столом,
Пустым амбаром и овином,
Со взором, скорбным и пустым,
Отцом оставленный и сыном
И духом брошенный святым...

В течение всех лет – с 1941 по 1947 год, – которые я прожил в деревне, хлеб на трудодни колхозникам не выдавали совсем.

Время шло, я вырос, и мне все чаще вспоминались прощальные слова отца, сказанные мне в день ухода в армию 9 августа 1941 года: «Ты остаешься в доме старшим мужчиной. Помогай матери.

И учись. Обязательно учись. Поверь мне: у тебя это получается». Месяцем раньше меня сфотографировали в группе отличников нашей школы и поместили снимок в районной газете. Надо было видеть, как папа носился с этой газетой. «Смотри, Катя, ну, смотри же, – обращался он к маме – это же наш Толя в газете, Толя среди отличников!»

А что сегодня Толя? – спрашивал я себя в конце 1946 года – спустя два года после того, как бросил школу – ушел из седьмого класса. Ответ напрашивался один: Толя теперь обратился в Митрофанушку, в неуча, – по-другому оценивать свои заторможенные ученические качества я был не вправе. Хорошо помню, что не обольщался своим будущим счетоводством, сознавая необходимость ставить перед собой планку повыше – получить среднее техническое образование. Но сначала надо освоить оборванную «семилетку» – без этого нет хода никуда! Но как явиться в школу семнадцатилетним «недорослем»? Хотя бы вечерняя школа была, но она существовала только в городе!

И все-таки, кроме меня и мамы, жил в мире человек, разделявший все беспокойства о моем будущем. Это была моя учительница по русскому языку и литературе Фекла Евдокимовна Законова. Случайно встретившись со мной в райисполкоме, где мы были по своим служебным делам, Фекла Евдокимовна первой заговорила о том, что не выходило у меня из головы в последнее время – о моей несвершившейся «семилетке».

В этом разговоре, совсем не кратком, от Феклы Евдокимовны я услышал слово «экстернат» – книжное и, разумеется, далекое от моей житейской практики. Однако именно это слово определило мои действия в ближайшем будущем.

– Сдашь экзамены экстерном – это разрешено. Ты будешь первым у нас в этом деле. Готовься. Я на тебя очень надеюсь, – говорила Фекла Евдокимовна, подытоживая разговор. – А я уже завтра буду говорить с директором обо всем. Пыжикова ты знаешь. Он тебя тоже помнит – и не только с моих слов.

Вернувшись домой, я побывал в Кирпичном, в школе. Написал заявление, получил разрешение на сдачу экзаменов экстерном. Затем начал готовиться, бывал часто на консультациях – делал то, о чем говорила Фекла Евдокимовна – мой ангел-хранитель, моя спасительница.

Через три с лишним месяца – в мае – я сдавал экзамены. Рядом с нормальными школьниками я ощущал себя дядей – этаким заблудившимся великовозрастным школяром. Сдал все предметы с одной оценкой – «отлично», и только один из класса удостоился похвальной грамоты.

Эта оценка смутила меня. Мне казалось, что она может вызвать чувство неловкости у моих «одноклассников», и я не пошел на общий классный сбор, где выдавали школьные свидетельства. Мне прислали записку, когда я могу прийти за документами.

В школе было безлюдно. В кабинете директора были А.А. Пыжиков и Фекла Евдокимовна. О чем-то поговорили, а потом Алексей Александрович вынул из сейфа свидетельство и похвальную грамоту и с большим чувством, волнуясь, поздравил меня:

– От души поздравляю с окончанием школы. Жаль только, что война растянула Ваши школьные

годы: в 1944 году я, молодой учитель, обращался к Вам на «ты», а сегодня – уже на «Вы». Знаю, что в войну Вы потеряли отца. Боль эта – непреходящая и неизбывна. Но знаю и то, что Вы не потеряли в себе стремления развить лучшее, что дано человеку. Счастливого пути.

Фекла Евдокимовна была немногословна:

– Я тоже давно тебя знаю – с 1942 года. И я всегда верила в тебя. Ты был моей гордостью, Толя.

Она обняла, поцеловала меня и добавила:

– Будь счастлив. С Богом!

Итак, куда поступаю учиться? Только туда, где «кормят и одевают». Мой выбор – речное училище в Горьком. Хотя я и вырос в лесном крае, вдали от Волги и не совсем представлял будущую судоводительскую профессию, но в ней впоследствии не разочаровался. Училище отличалось хорошими флотскими традициями. В нем работали замечательные преподаватели. На некоторых из них лег отсвет истории. Математик Д.Н. Зарослов в Петербургском университете занимался в студенческом радиокружке, созданном изобретателем радио А.С. Поповым. Инженер В.И. Докучаев был в молодости сверстником и другом выдающегося летчика П.Н. Нестерова, известного своей «мертвой петлей».

Уважение к своей профессии заложил в нас А.И. Яковлев, завораживавший своими рассказами о службе вместе с адмиралом С.О. Макаровым.

А глубокое понимание словесности, литературы привила нам А.С. Павельева – в прошлом выпускница Высших женских курсов в Петербурге, слышавшая Ахматову, Блока. Мне никогда не забыть того высокого духа, который царил в стенах нашего училища. К моей немалой радости, я окончил его с отличием и был направлен в 1952 году в Волго-Донское пароходство по специальности судоводителя. В 1956 году переехал в Ульяновск и по 1991 год работал в речном порту капитаном на различных судах.

Книга – давнее мое увлечение. Оно привело меня в 1970 году в городской клуб любителей книги «Прометей», в работе которого я участвовал в течение тридцати лет. Мне особенно близки и дороги поэты военного поколения, творчество А. Блока, И. Бунина, К. Паустовского, Н. Рубцова. Меня влекут места, связанные с жизнью любимых писателей. Я не раз бывал в блоковском Шахматове, на родине Паустовского, в рубцовой Вологде, выступал с любимыми темами как в Ульяновске, так и в самых разных местах.

Неравнодушие к литературе и истории помогло мне заинтересовать общественность и ведомства речного флота в необходимости присвоения судам имен известных исторических личностей. Так появились теплоходы «Комдив Гай», «А. Блок», «Н. Карамзин».

Очень горжусь своей дружбой с коллективом работников московского музея-центра К.Г. Паустовского, которая продолжается с 1981 года. С 1989 года являюсь почетным членом музейного клуба «Золотая роза».

Ну а кто не вернется? Кому долбить не придется?

Ну а кто в сорок первом пулей сражен?

С. Гудзенко

Годы, прожитые в деревне, – с начала войны до отъезда в училище – это постоянные заботы о хлебе насущном, годы радений, неудач, преодолений, потерь, страданий – все во имя того, чтобы удержаться на плаву, выжить на этом свете, где тебе довелось родиться.

Хотя мне и суждено было дожидаться Победных дней, но, как писал поэт Борис Слуцкий:

Счастья все ж они не принесли...

Не боюсь оказаться неправым в своих суждениях – они, как и у многих, бывают субъективными, но считаю: счастье всегда обходило меня, ускользало из рук. А вот удовлетворение от совершенного мною – такое, на которое подвигнуло меня высокое чувство, – такое довольство своим свершением у меня случалось.

В конце февраля 1946 года возвратился домой, в нашу деревню, один из последних участников войны с Германией – Сергей Васильевич Гурьянов (однофамилец председателя). Вскоре мне привелось в одном из своих вояжей в райцентр быть попутчиком солдата. Он шел в военкомат, чтобы стать на воинский учет. Понятно, что дорожный разговор шел о его солдатской судьбе, о мытарствах в немецком плену, в который Сергей угодил еще летом 1941 года. Освободился из плена в победном мае 1945-го.

Когда я заметил, что возвращение его задержалось на полтора года: общая демобилизация прошла в августе – октябре того же 1945 года, Сергей мрачно и зло выкрикнул:

– Да пропади оно все пропадом!.. Из одного плена – немецкого – перевели в свой – советский. Проверяли, как говорится... Словом, для бедного Ванюшки и там и тут – одни камушки!..

С возвращения Гурьянова прошел год, но никого за это время с «западной» сторонки в деревне не дождалось. Сергей Васильевич и в самом деле оказался последним из земляков, вернувшихся с советско-германской войны.

Правда, на Востоке продолжали еще служить солдаты быстротечной русско-японской (август – сентябрь 1945 г.) войны, но наши земляки в ней уцелели: они вернулись в деревню позднее, когда я уже уехал оттуда.

Мы нередко с С.В. Гурьяновым встречались: правление колхоза, где я обычно постоянно находился, располагалось напротив дома, по другую сторону улицы. И при каждой встрече в моем сознании вспыхивало: «Последний – с германского фронта – последний уцелевший!» Их было так мало – вернувшихся – всего пятнадцать. А тех, кто не вернулся, – сколько их? Так возник и утвердился во мне этот вопрос. И я решил составить список всех не вернувшихся с фронта – и тех, на кого были извещения, и тех, о ком не было никаких известий, писем в течение вот уже двух лет после окончания войны.

Для меня это не составляло особых трудностей: я мог, закрыв глаза, перечислить по порядку дворов всех живущих поименно и, конечно, всех, кто не пришел с фронта. В этом нет ничего удивительного: все в деревне ведают обо всем гораздо больше, чем

в городе. Таковы уж артельные особенности, сложившиеся в сельской общине.

Вскоре список был готов. Уникальность этого списка – я до сих пор убежден – была несомненна и состояла в том, что я знал, видел этих людей – всех без исключения. Каждый из них был в возрасте деятельном – от двадцати до сорока лет – и в самых разных местах: на улице, полевой дороге, на току, на опушке леса, на мельнице – всюду, где бывают сельские люди – каждый здоровался со мной, спрашивал о родителях, шутил, ласково ерошил мои волосы или как-то по-другому оказывал внимание – мне, мальчишке. Поэтому с каждым именем в моем сознании вспыхивал его образ, вспоминались мельчайшие подробности...

Я не обольщал себя надеждой сохранить этот список в своем непредсказуемом будущем, потому что вполне четко и определенно решил: «Я должен запомнить главное – сколько людей не вернулось, сколько погибло, значит». Их было по тому списку 101 человек, а в деревне – 102 дома. Округлив обе цифры до 100, я сказал себе: никоим образом это точно невозможно – просто невысказано – забыть:

в среднем на каждый двор приходится один погибший. Так вошла в сознание и никогда уж не забылась эта печальная статистика: не вернулось в деревню 87%. Убежден, что этот счет – выше 80% погибших на советско-германском фронте воинов, призванных, заметьте, в Средней России, – этот счет соответствует реальным потерям в масштабе всей страны. За исключением, возможно, оккупированных немцами областей, где могут быть другие соотношения чисел – призванных и погибших.

Спустя почти столетия, к 55-летию Победы, мне пришлось побывать в родной деревне. Посетил и школу. Там я увидел список погибших односельчан. Надо же! Кто-то из школьников шел по моим следам! Они разыскали 84 имени и хотя «не дотянули» до списка, составленного мной в 1947 году, но степень приближения была довольно высокая. Ребятам тоже пришлось удивиться, когда я, просмотрев список, сходу вспомнил два пропущенных ими имени и сказал: «Теперь в списке у вас 86 имен, ищите остальные 15 – не медля ни дня: увя, ветераны уходят».

